



*Черновики превращаются в мемуары  
лишь тогда, когда собственные грехи  
оборачиваются в них всеобщей  
неправотой окружающих...*



Однажды я летел в самолете из Саратова с небольшой группой хасидов. Они сидели по диагонали от меня, заняв через проход пару рядов тройных кресел. Когда пришло время молитвы, самый молодой из них, безошибочно узнав во мне человека, к которому есть смысл обратиться, показал жестом, не хочу ли я воспользоваться тфилин — известным всем верующим евреям приспособлением, состоящим из кожаных ремешков, продетых через две маленькие коробочки, одна из которых прикрепляется к руке, а другая посередине лба, а точнее, на линии волос, даже если они когда-то там были. Мои читатели знают, как я безнадежно ненабожен, и я ответил молодому парню, что лучше сделаю это дома.

— У тебя есть? — доверчиво спросил он.

Кивком я дал знать, что не стоит беспокоиться.

И затем утонул в облаках воспоминаний.

Можете ли вы себе представить, что на Колыме у нас действительно были тфилин! Я часто наталкивался на голубую коробочку, когда изучал содер-

жимое особого сундука под сиденьем дивана. Там хранились пластинки с еврейскими песнями, Пятикнижие на двух языках издания 1913 года, какие-то мамины безделушки и бесполезные раритеты вроде выходных туфель или ридикюля, альбомы с фотографиями и, кажется, пара верблюжьих одеял на случай, если я опять заболею воспалением легких.

В один из дней папа вытащил голубую коробочку и объяснил нам с братом назначение таинственных ремешков.

Не знаю, сохранил ли мой брат Самуэль эту коробочку в многочисленных переездах после кончины отца, но Книга, обернутая по традиции прежних времен в гладкую бумагу, каким-то образом оказалась у меня.

О том, что отец был верующим, я узнал только в самом конце его трудной жизни, когда в письмах ко мне и в персональном завещании, написанном от руки в больнице Рамат-Гана, он ссылался на «нашего доброго Бога», который и после его смерти должен был хранить нашу семью.

Во мне нет религиозного чувства, я также ничего не могу сказать о набожности моей матери, поскольку вырос в те времена, когда на Колыме даже православным не полагалось церкви. Но маленькое

приключение в самолете привиделось мне началом книги, которую я и выношу на суд своих верующих и неверующих читателей.



Два плюшевых полотна, собранных петлями у простенков в конце коридора, который длинной стороной буквы «Г» сначала вел от комнаты тети Маши, расположенной напротив входа в квартиру, мимо туалета, а потом заворачивал короткой чертой в кухню — возможно, все началось с этого занавеса... За ним, посреди комнаты, служившей до Элькиного приезда гостиной, стоял круглый стол, покрытый скатертью из того же синего плюша, который становился серебристым, если гладить его против ворса. Над столом висел желтый тканевый абажур, отороченный по кругу чуть более короткой, чем у скатерти, бахромой.

Малый зал моего домашнего театра предназначался для кукольных представлений. В верхней половине двери в смежную комнату был стеклянный проем — я становился на стул позади двери и, держа за ноги своих игрушечных человечков, передвигал их в плоскости, параллельной стеклу, и озвучивал, как мне тогда казалось, разными голосами.

Театр, по-видимому, начался еще в бараке, из которого мы переехали в типовой шестнадцатиквартирный дом в 1960 году, но, к сожалению, если бы не фотография, запечатлевшая меня на велосипеде у крыльца нашего прежнего жилища, я бы даже не вспомнил, каким именно надо обрисовать его читателю.

Пока же настоящий театр таился в самом главном для меня доме поселка — в конце центральной улицы, в местном клубе, где в роли хулигана с нарисованным синяком успел блеснуть мой брат (в миниатюре под названием «День рождения») и где блеснул я, только спустя четверть века после нашего отъезда с Колымы, во время моих первых гастролей по Магаданской области.

Мой брат Самуэль рассказывает:

*Схватки у мамы начались с утра 28 февраля 1955 года. Но в Адыгалахе была только поликлиника, и обычно роды принимала какая-нибудь акушерка из бывших эчек, уже жившая на поселении. В тот февральский день она болела, поэтому роды принять не могла.*

*Местный фельдшер сказал, что надо ехать в Нексикан и рожать там — в больнице. Почти все машины были в рейсах, незанятые шоферы от-*

дышали. Нашли вроде один газик, но водитель был в отгуле, потому что на завтра должен был везти какого-то начальника в Нексикан с важными документами. Тогда местное руководство решило, что можно взять свободный самосвал, в кабину все же посадить в этот день начальника с документами, а роженицу, жену «врага народа», поместить в кузове. Для нее даже поставили скамейку.

Выехали после обеда. Расстояние от Адыгалаха до Нексикана — 125 км. Подъемы, повороты, дорога скользкая, ехали не быстро, но все равно мама несколько раз соскальзывала со скамейки на металлический пол. Два раза останавливались в дороге — сходить в туалет прямо на обочине, в страшный мороз. В третий раз остановились надолго: что-то случилось с мотором.

Этот начальник, не уступивший кабину несчастной женщине, несколько раз выходил пройтись, размять ноги, забирался на борт и спрашивал маму, жива ли она еще. Мама отвечала, что жива, хотя чувствовала, что обливается кровью.

Приехали поздно вечером. Сама идти до отделения уже не могла. Пришли санитары. Вынесли из машины. Потом без всякой операции ребенка с очень крупной головкой вытащили, но он был уже весь в крови и не дышал. Мама тоже несколько раз



*теряла сознание. Поздно ночью, когда пришла в себя, ей сообщили, что ребенок мертв, и принесли его.*

*Этому крошечному человеку по имени Марик мой младший брат Нахим обязан жизнью: он родился спустя год и один месяц. Останься Марик жив, родители бы вряд ли решились завести третьего ребенка на Колыме.*



Не знаю, может быть, и есть счастливцы, которые помнят свой первый крик по выходе из материнского лона. Мое первое яркое воспоминание — это пожар в Сусумане. Что горело — не помню. Но зарево это осветило все, что случилось потом, включив в тот момент мою детскую память. Я родился весной 1956 года и знаю, что меня привезли из роддома сначала в Адыгалах. Мой старший брат Элик помнит, как ждали машину с родителями и новорожденным из Нексикана. Он стоял на пригорке возле дома, вместе с тетей Машей, маминой сестрой, которую наш отец забрал с Урала, где она пережила эвакуацию в семье старшей сестры, — просто заехал за ней в село Бреды, возвращаясь из своей вольной поездки на материк. Всю жизнь тетя Маша потом прожила вместе с нами.

Дело было вечером. Маша шутя спросила у Эльки:

— Ты хочешь, чтобы тебе привезли мальчика или девочку?

УЗИ, ясное дело, тогда не было. Элька чуть не поперхнулся от шанса занять на свою голову сестренку.

— Конечно, мальчика!

— А вдруг мама родила девочку?

— Значит, пускай она останется там, в Нексикане...

Со слов брата я могу описать и дом, в котором прожил ровно одну зиму, — до того, как мы переехали в дом у дамбы, тянувшейся вдоль реки Берелех.

Это был продолговатый одноэтажный барак с несколькими квартирами в техснабовском поселке на окраине Сусумана. Как и в нынешних коттеджах, в каждую квартиру имелся отдельный вход. Разница с сегодняшними таунхаусами состояла, пожалуй, в том, что воды и туалета в доме не было. Уборная располагалась на улице. Не было и колонки. Раз в день во двор заезжала машина с цистерной, рядом с ней выстраивалась очередь, и жильцы тащили воду в ведрах домой. Элька рассказывал, как однажды в очень суровую зиму мама отправилась за водой, а он, заждавшись взрослых и не зная, как еще оповестить о своем отчаянии, снедаемый ревностью к ма-

ленькому человечку, который спал в общей комнате, сначала осторожно примеривался, а потом уже, поддавшись детскому капризу, разбил оловянной ложкой оконное стекло.

— До сих пор помню, как я это сделал, и как морозный воздух ворвался в комнату, как мама даже не стала меня ругать, а только горько заплакала. Где были папа и Маша, не помню... Наверное, на работе. Как ты только тогда не простудился, лежа в маленькой коляске, на этом внезапном сквозняке...

Была еще собака Тобик, которая однажды раздурилась и взметнувшейся цепью огрела маму.

У нас в семейном альбоме есть этот снимок — мама с фингалом под правым глазом. Эта фотография не для посторонних глаз.

Для читателей у меня есть другие — где моя мама всегда улыбающаяся и красивая.



Эльку отправили к бабушке в Оршу в 1958 году. Мне было уже два года, старший брат рос слабеньким; было решено, что у бабки, в распоряжении которой был большой сад и огород, ребенок отъестся, наберется сил, а потом мы снова заберем его на Колыму, если до того не вырвемся оттуда са-

ми. Шестилетний мальчишка под присмотром двух женщин, знакомых наших родителей, которые сорвались в отпуск на материк, добрался из Сусумана до Москвы самолетами с пересадками в Магадане, Охотске, Хабаровске и Красноярске. Добрые женщины отвезли его из Внуково на такси в Клязьму, где жила жена погибшего на войне папиного брата, по совместительству его же троюродная сестра, а через неделю Элька, тетя Лиза и ее новый муж дядя Саша поехали на Белорусский вокзал, где встретили родного брата отца — однорукого дядю Гесселя, ставшего инвалидом во время войны. Вместе с ним на следующий день Элик и уехал в Оршу.

Спустя год я с родителями впервые поехал к бабушке в Белоруссию — тоже сначала самолетами с остановками и пересадками, тоже с недельным гостением в Клязьме, а потом — на паровозе с большими красными колесами и протяжным гудком, который многие помнят лишь по военным фильмам.

Колымский отпуск длился почти все лето, поскольку папа брал его ровно раз в два года. Пятилетним мальчишкой в 1961 году я с родителями еще раз повторил этот путь, а еще через пару лет, 8 сентября мы выехали из Орши уже вместе с братом. Заехали в настоящую заграницу — в Ригу, где жила мамина тетка. 17 сентября мы приземлились на сусу-